



ХІ. ОКОНЧАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Чернышевскому предстояло решить не туманный вопрос о далекой будущности, а простой, обыденный вопрос о месте по выходе из университета: оставаться ли в Петербурге, или ехать в Саратов и поступать там служить?

Твердое намерение «пойти по ученой части», принятое им вскорости после переезда в Петербург, оставалось с тех пор неизменным, но все еще далеко не ясно было, каким образом удастся осуществить его. Настолько не ясно, что Чернышевский затруднился за полгода до начала выпускных экзаменов ответить на вопрос матери, каковы же его «виды и отношения в Петербурге» и что предполагает он делать в ближайшем будущем.

Подшло время выпускных экзаменов. За неделю до них Чернышевский получил известие, что в Саратове освободилось место учителя гимназии. Получение этого известия положило начало длиннейшей истории, тянувшейся почти целый год и приведшей в конце концов к тому, что Чернышевский в 1851 году очутился в Саратове на месте покойного Волкова учителем словесности в тамошней гимназии.

Мысли его были уже далеки от университета. Глубоко и по-настоящему его волновало совсем иное. Живая, горячая вера в будущее и крепнувшая воля к действию все более и более сливались воедино. В нем созревали широкие замыслы, начинала бить ключом надежда на неизбежное и близкое пробуждение закабаленного, обманутого народа.

Вериги векового рабства не спадают сами собою — их надо сбросить. Право на свободное и разумное развитие не явится само собою — его надо отвоевать.

Вот почему в тех случаях, когда ему доводилось говорить на эти темы с людьми из народа, он старался внушить им мысль, что добром они ничего не получают, что должно добиваться силою.

В таком именно духе толковал он с крестьянином, нашедшим наконечник ножен его шпаги, с солдатом, переезжавшим с ним в одной лодке через Неву, с извозчиком, который вез его однажды поздним февральским вечером 1850 года на Петербургскую сторону к Иринарху Ивановичу Введенскому.

Его заветные желания и надежды личного свойства все теснее сливались с мыслями о благе народа и родины.

Размышляя тогда о своем будущем, он уже угадывал в общих чертах, как оно сложится после университета и поездки в Саратов. «...Через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны...»

Теперь, в дни выпускных экзаменов, на пороге иной, новой жизни, он еще острее чувствовал, что политика главенствует над всеми его помыслами и интересами, что она становится в самом центре его внутреннего мира.

В толпе врагов, в кругу друзей,
Среди воинственного шума
У верной памяти моей
Одна ты, царственная дума.

Ему захотелось напомнить о себе другу ранней университетской поры — Михайлову. «.. Кончаю курс, остаюсь здесь служить или делать что попадется под руки... Скорее всего достану где-нибудь учительское место. Если нет, принимаюсь писать и переводить...

С самого февраля 1848 года и до настоящей минуты все более и более вовлекаюсь в политику и все тверже и тверже делаюсь в ультрасоциалистическом образе мыслей».

Теперь он уже бесповоротно укрепился в своем революционном мировоззрении. Отвращение к крепостническим порядкам, к социальному неравенству, революционные настроения, питаемые окружающей обстановкой, привели его постепенно к убеждению в необходимости способствовать всеми силами и всеми средствами подготовке переворота в России. Наряду с сочувствием социально-утопическим теориям у молодого Чернышевского выкристаллизовалось понимание важнейшей роли борьбы классов, как движущей силы истории. В осознании этого, как и в готовности к действию, уже и тогда сказывалось его огромное преимущество над теми, кто не шел дальше отвлеченных мечтаний о грядущем «золотом веке».

Замечательно, что уже тогда возникал у него план устройства тайного печатного станка, на котором он будет печатать — придет время — призывы к восстанию крестьян, чтобы расколыхать народ, дать широкую опору движению возмущенной массы. Он понимал, что осуществление этих планов не так близко. Это будет тогда, когда он поселится в собственной кварти-

ре, когда будет свободно располагать деньгами. Но он уже ощущал в себе и сейчас силу решиться на это и не пожалеть, если даже придется погибнуть за это дело.

В мае 1850 года Чернышевский писал в своем дневнике, что по отношению к самодержавию он чувствует себя «так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой...»

Университетская пора его жизни окончилась. Из робкого, застенчивого мальчика, каким он явился в Петербург четыре года тому назад в сопровождении матери, Чернышевский превратился в двадцатидвухлетнего юношу с необыкновенно богатым внутренним миром и широким кругозором. Начитанности его мог бы позавидовать любой ученый. При этом ученость его была не отвлеченной, не схоластической, а, напротив, тесно связанной с жизнью. Не ученость для учености, а животрепещущая мысль, вооруженная знаниями, пылливо исследующая прошлое для настоящего и будущего. «Полнее сознавая прошедшее, — говорит Герцен, — мы уясняем современность, глубже опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего...»

Чернышевский стал собираться в Саратов, чтобы повидать родных. Четыре года тому назад, при поступлении в университет, его радовало, что вот он облачается в студенческую форму, а теперь он чувствовал облегчение, расставаясь с нею, меняя ее на штатское платье и с удовольствием рассматривая свои покупки: пальто, манишку, галстук, перчатки и фуражку.

15 июня утром он выехал с дилижансом, отправлявшимся из Петербурга в Москву; далее предстояло путешествие до Саратова на перекладных.

Двухдневная остановка в Москве позволила ему навестить семью Клиентовых, в доме которых Чернышевские останавливались в 1846 году по пути в Петербург. У него осталось тогда самое отрадное впечатление от поездки в Троицкую лавру в обществе Александры Григорьевны. Теперь он узнал, что вскоре после того на семью Клиентовых обрушилось несчастье: одна за другой умерли три сестры Александры Григорьевны... Одна из них, Антонина, была кумиром всех сестер, ценивших ее поэтический дар. В памяти Чернышевского навсегда осталось стихотворение Антонины Клиентовой «Там, где липа моя...» Много лет спустя он вспомнил это стихотворение, когда писал в каземате Петропавловской крепости «Повести в повести». Приведя в одном из отрывков повести несколько строк этого стихотворения, он говорил о силе скорби, проникающей их, и вспоминал о молодой жизни, увядшей без радости и без любви, посреди обыденщины и скуки.

Об Александре Григорьевне он неожиданно для себя узнал теперь, что она была связана в юности узами теснейшей дружбы с будущей женою Герцена, Наталией Александровной. Заговорили они об этом случайно, когда Чернышевский увидел на столе у Александры Григорьевны роман «Кто виноват?», подаренный ей женою автора.

— Вы знаете его? — спросила Чернышевского обладательница книги.

— Как же не знать... — ответил он с энтузиазмом. — Я его уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для него...

Александра Григорьевна показала ему письма своей подруги детства с приписками автора «Кто ви-

новат?». Перебирая письма, она заметила: «Я хотела показать вам, что она достойна его». — «Помилуйте, Александра Григорьевна, — отвечал он, — для того, чтобы быть в этом уверена, довольно было знать, что она — ваш друг...»

Чувство дружбы и сострадания к Александре Григорьевне с новой силой пробудилось тогда в душе Чернышевского, и, вспоминая о своем прежнем намерении именно ей посвятить свой первый литературный опыт, он начал по приезду в Саратов писать о ней повесть, озаглавленную им «Отрезанный ломоть». Название возникло из жизни. Это образное определение унижительного положения женщины, которую родителям удалось *пристроить* замуж, Чернышевский запомнил по очень давним своим разговорам с Лободовским. В этом уподоблении, как в капле воды, отразилось все уродство социальных условий, обрекавших тогда женщин на жалкую роль чужь ли не вещи, сбываемой с рук. После первой встречи с Александрой Григорьевной Чернышевский в Петербурге нередко вспоминал о ней. Вот, например, как передавал он в дневнике одну из многочисленных бесед с Василием Петровичем о его браке: «Снова говорил в ее (Надежды Егоровны. — *Н. Б.*) пользу; привел, как дурно обходится отец с Александрой Григорьевной. «И с Надеждой Егоровной, умрите вы, то же будет — взять к себе возьмут, потому что не взять неприлично, но принуждена будет итти в служанки». — «Да, — говорит он (Лободовский), — сам (то-есть тесть, разумеется. — *Н. Б.*) говорит — *отрезанный ломоть...*»

Отрывочная запись этого разговора дает нам возможность ясно представить себе, каков был замысел утраченной повести молодого Чернышевского, которую

он мечтал напечатать в «Отечественных записках» и от которой, как и от повести «Теория и практика», протянуты нити к роману «Что делать?».

Позднее мы увидим, как созвучна тема «Что делать?» темам публицистических очерков друга Чернышевского, М. Л. Михайлова, напечатанных в «Современнике». На это указывает и Герцен в статье «Порядок торжествует» (1866 г.): «Стоя один, выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающих угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решил схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, что им *делать?*»

Герцен подчеркнул глубокое общественное значение темы романа, указав, что «Чернышевский и Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унижительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их. Пропаганда Чернышевского была ответом на *настоящие* страдания, словом утешения и надежды гибнущим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход...»

Мы заглянули далеко вперед — очерки Михайлова и знаменитый роман Чернышевского были написаны в шестидесятые годы, явившиеся кульминационным пунктом их бурной и плодотворной революционной деятельности. А в описываемое время оба они только готовились к ней, делали лишь первые попытки вступить на этот путь. Но характер всей последующей деятельности шестидесятников, духовным вождем которых

стал Чернышевский, выступит перед нами отчетливее и яснее, если мы проследим шаг за шагом, как зарождались его юношеские верования и убеждения, что подготавливало и укрепляло их. Еще в студенческие годы Чернышевский хотел изобразить в повести «Теория и практика» человека, жизнь и поступки которого ни в чем не расходились бы с теорией, то-есть с убеждениями и взглядами. Эта характерная особенность, эта главная отличительная черта *новых людей* (а им-то и посвящен роман Чернышевского) была в сильнейшей степени присуща ему самому еще с юношеских лет. Даже мир его интимных переживаний, область его личной жизни не составляли исключения из этого правила. Чернышевский остался верен ему до конца.

«Разбирать слова людей полезно, чтобы узнавать их мысли, — писал он сыновьям из вилюйской ссылки. — Но наука дает нам другое средство узнавать мысли людей, — средство более верное и несравненно более могущественное. Это — анализ дел человека».

Когда юноша Чернышевский был влюблен в Надежду Егоровну и думал, что чахотка может внезапно оборвать жизнь его друга Лободовского, он готов был, если бы понадобилось, на фиктивный брак с нею, чтобы только дать ей возможность не возвращаться под опеку и власть отца, считавшего ее «отрезанным ломтем».

И вот теперь Александра Григорьевна... Это уже не чета жене Лободовского. Уровень ее развития был неизмеримо выше. Он говорил с нею о Герцене, о русской литературе, об иллюзорности надежд на провидение, о новой философии... И она без труда понимала его.

«Я говорил постоянно с энтузиазмом к ней», — отмечает в дневнике Чернышевский и спрашивает себя: «Что побуждало этот энтузиазм? Конечно, главным образом, ее несчастная участь, которую хочу теперь описать в повести... («Отрезанный ломоть». — Н. Б.) «Ты не должна любить другого, нет, не должна; ты мертвену святыней слова обручена», — вот что, — это доходило до того, что я, пожалуй, готов был жениться сам на ней, лишь бы избавить ее от этого положения».

Расставаясь с нею, он сказал: «Конечно, я, может быть, никогда не буду иметь случая доказать на деле то, что я говорю вам, Александра Григорьевна, но вы всегда можете требовать от меня всего — я все готов для вас сделать; я не знаю, почему это, но ни к кому никогда не чувствовал я такого сильного расположения, как к вам».

Это уже язык объяснений...

Но, видимо, не суждено было подруге детства Натальи Герцен соединить свою судьбу с судьбою будущего автора «Что делать?», хотя на возвратном пути из Саратова в Петербург он опять остановился в Москве, виделся с нею несколько раз, часами бродил с нею по Никитскому и Пречистенскому бульварам и снова сказал на прощанье, что посвятит ей первое, что напечатает...

Еще по пути к родному городу Чернышевский думал о том, что хорошо было бы избегнуть вовсе разговора с отцом о «деликатных», как он сам выразился, предметах (о религии, правительстве и т. д.). Но ему даже не пришлось прибегать ни к каким ухищрениям: отец, с присущим ему тактом, не стал ни о чем расспрашивать сына и касаться острых тем. Заметив это, Чернышевский сам осторожно затрагивал иногда «запретные» темы и убедился в том, что мог «выска-

зять довольно много», ибо Гавриил Иванович был, повидимому, не слишком сведущ в этих вопросах и не мог ясно уразуметь всей глубины коренных изменений во взглядах и убеждениях сына.

Но вне дома, среди знакомых, среди товарищей по семинарии Николай Гаврилович держался свободнее, прямее и с увлечением распространял свои заветные мысли. Одному из старших современников Чернышевского, настроенному весьма реакционно, хорошо запомнилось содержание беседы с ним, возникшей при первой же их встрече летом 1850 года.

«...С первого же взгляда на него, — пишет этот мемуарист, — я не мог не заметить большой перемены: вместо легкой согбенности стан выпрямился; взор открытый, руки в движении; есть что-то размашистое, признаки какой-то удали. Жмем друг другу руки, целуемся; сели.

Вижу, дорогой мой гость довольно быстрым взором осматривает мое скромное жилище и как будто чего-то ищет. Наконец нашел то, с чего хотелось бы ему начать речь, которая сразу дала понять, что Чернышевский уже не тот незрелый юноша, которого я знал.

— Что это, Иван Устинович, вы все попрежнему живете? (При этом рука моего гостя указала на икону, занимавшую передний угол моей комнаты.)

— Попрежнему, — отвечал я.

— И за Николая Павловича молитесь?

— Молюсь.

— И свечи нерукотворному ставите?

— Ставлю.

— Да перестаньте жить «по преданьям старины глубокой», — заметил Чернышевский своему собеседнику. Затем он стал горячо убеждать его в том, что наука в близком будущем вытеснит из сознания лю-

дей религиозные предрассудки. — Люди будут признавать за истину только то, что проверено опытом, — заключил он свою мысль.

Выслушав эти слова, знакомый Чернышевского заметил:

— Неужели, скажите, пожалуйста, таким светом просвещает вас Санкт-Петербургский университет?

— Может ли что добро быть от этого Назарета? — отвечал Чернышевский. — Там читают по засаленным тетрадкам. Если пошло на откровенность, то скажу вам, что теперь еще нет настоящего света; светятся огоньки, подобные блуждающим огонькам на болоте. Мы соберем эти огоньки в один фокус, из которого разольется свет по всей подсолнечной. Но вы, пожалуйста, не передавайте нашего разговора в простоте верующему Гавриилу Ивановичу; чего доброго, он оставит меня в глуши саратовской, а «мне душно здесь, я в лес хочу»...

Запомнился молодой Чернышевский и декабристу А. П. Беляеву, жившему в то время в Саратове после отбытия каторги в Сибири и службы рядовым на Кавказе. Впоследствии, еще при жизни Чернышевского, уже вернувшегося в Астрахань из вилюйского заточения, Беляев напечатал в одном из журналов свои мемуары, где, между прочим, была отмечена встреча его с Чернышевским в Саратове в 1850 году...

Прожив на родине месяц, Чернышевский стал готовиться к отъезду в Петербург.

Возвращался он не один: вместе с ним ехал Александр Пыпин, который пробыл год в Казанском университете и решил теперь перейти в Петербургский. Путь их лежал через Казань, где Пыпину надлежало выправить документы по переходу из университета.

Ехали на простой телеге, меняя лошадей на больших станциях. Невзирая на решительные возражения сына, Евгения Егоровна уложила в телегу обильные запасы сластей, грецких орехов и банок с вареньем. Она была грустна, расставаясь со своим любимцем. Усевшись рядом с ним на телеге, она сказала: «Вот как прекрасно, так бы и поехала с вами до Москвы; ничего, решительно ничего, прекрасно и спокойно...»

«...В ней было так много грусти, сожаления, что мне стало жалко, и я сам сидел в каком-то онемении, — писал в дневнике Чернышевский. — Наконец расстались со слезами на глазах. Едва отъехали мы от того места, где расстались, на две версты... и мне стало более не видно наших, на которых я постоянно смотрел, пока было видно, как я понял свою подлость, бесчувственность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что, как негодяй, покидаю маменьку в жертву тоске, — и я раскаялся, и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад... Я думал, думал об этом две первые станции, и в моей голове созрела мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в Саратовскую гимназию, как это я сделал раньше в Петербурге, и это меня успокоило, как будто я получил уже это место; но пока я дошел до этого решения, я был грустен, сердце мое сжималось, теперь я успокоился. «Что можно будет сделать, — сказал я, — я сделаю, и если не ворочусь в Саратов, это будет уж не моя вина, а вина невозможности...»

В Нижнем Новгороде они остановились у Михайлова, который был чрезвычайно обрадован встречей с Чернышевским после долгой разлуки. Он с воодушевлением пустился в воспоминания о петербургской жизни, рассказал, как сначала по приезде в столицу он жил на широкую ногу, сняв квартиру на Невском

у француза, своего прежнего гувернера, и как потом мало-помалу дела его ухудшались: с Невского пришлось перебраться на Гороховую, а затем спускаться все ниже, ниже, к самому концу Вознесенского проспекта; как после смерти отца, когда прекратились денежные подкрепления, он вынужден был оставить университет, покинуть Петербург и перебраться на жительство в Нижний.

Здесь у него нашелся дядя, советник Соляного управления, и молодой поэт в начале 1848 года благодаря дядюшке был принят туда на службу писцом первого разряда. Через два года он был произведен в коллежские регистраторы и теперь исправлял уже должность столоначальника, но чиновничья служба и беспросветные провинциальные будни не убили в Михайлове поэтических стремлений и литературных интересов. Он продолжал писать, переводить; от времени до времени его произведения появлялись то в местной газете, то в «Москвитянине».

Нижегородская жизнь дала Михайлову богатую пищу для сатирических сцен и бытовых повестей.

В это свидание с Чернышевским и Пыпиным, прожившими у него два дня, Михайлов прочел им свои комедии «Тетушка», «Дежурство» и начальную главу повести «Адам Адамыч», которая по напечатании принесла ему вскоре известность, что позволило ему через два года бросить службу в Соляном управлении и снова перебраться в Петербург, чтобы целиком посвятить себя литературе и революционной деятельности.

Желая как можно скорее вытянуть друга из провинциальной тины, Чернышевский стал развивать перед ним проект переезда в Петербург, с тем чтобы тот, выдержав испытательные экзамены, получил бы с по-

мощью Введенского место преподавателя в военно-учебных заведениях.

Уезжая из Нижнего, Чернышевский захватил с собою беллетристические произведения Михайлова, чтобы ознакомиться с ними кружок Введенского и пристроить некоторые из них в журналах. Последнее так и не удалось ему тогда из-за «свирепой цензуры», но комедия «Тетушка» действительно была прочтена на вечере у Введенского и произвела самое благоприятное впечатление на слушателей.

До Москвы двоюродные братья добрались в бричке и, остановившись здесь на несколько дней, позаботились о приобретении билетов до Петербурга на «наружных» местах в дилижансе. Таких мест было всего два — в особой колясочке по соседству с кондуктором, впереди дилижанса. Они были открытыми и потому наиболее дешевыми.

В пути Николай Гаврилович рассказывал Александру Пыпину об университете, о своих друзьях, о профессорах, читал будущему слависту наизусть стихи Мицкевича, отрывки из Краледворской рукописи, тут же переводя и объясняя их. Рассказы прерывались шутками и шалостями. Так длилось это путешествие двое суток, с остановками для перемены лошадей, для чая и обеда. Они проезжали мимо сел, деревень, городов, лежавших на пути от Москвы к Петербургу.

11 августа Чернышевский и Пыпин прибыли в столицу и поселились у Терсинских. Уже на следующий день Николай Гаврилович, повидавшись с Введенским, принялся деятельно хлопотать об устройстве на место учителя в одном из военноучебных заведений столицы. Прежде всего надлежало «выдержать» пробную лекцию перед комиссией учителей и инспекторов военноучебных заведений на две заранее предложен-

ные темы Чернышевскому назначили: из грамматики — «О способах сочетания предложений» и из словесности — «О том, содействует ли теория словесности искусству писать, и в какой степени».

Он тщательно подготовился к лекциям, привлекая наиболее важные исследования по данным темам. Характерно, что он стремился построить «трактат» по теории словесности на основе материалистической философии, и выступление его от начала до конца, по собственному его признанию, было проникнуто этим духом.

Запись лекции не уцелела, но из письма Чернышевского к Михайлову (конца 1850 года) можно заключить, что в основу ее были положены статьи Белинского из «Отечественных записок»

Не обинуясь, можно сказать, что эта лекция Чернышевского по теории словесности явилась в какой-то мере прообразом его знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности».

Выступая 15 сентября 1850 года перед преподавателями и профессорами военноучебных заведений — а их собралось в тот вечер до двадцати человек, — Чернышевский приготовился решительно и смело подвергнуть острому анализу и критике обветшалые, реакционные теории искусства. Однако Чернышевскому не дали закончить лекцию, признав начало ее превосходным, и поэтому ему уже невозможно было развернуть во всей широте набросанную им картину исторического развития искусства и литературы. «Все это, — с молодым задором писал он тогда же своему другу, — было пересыпано гимнами Ж. Санд, Диккенсу, Гейне и Гоголю (то-есть *социальному роману и социальной поэзии*. — Н. Б.); но, к счастью, — добавляет он иронически, — дело до этого не дошло...»

И действительно, если бы выступление Чернышевского было доведено до конца, то уж, конечно, он не заслужил бы одобрения слушателей.

Воспоминания Александра Николаевича Пыпина о первой поре его пребывания в Петербурге, написанные вообще с оглядкой и осторожностью, свойственной либералам, отчасти передают все же атмосферу, в которой он очутился с осени 1850 года. Чрезвычайно интересна в них одна деталь, показывающая, что разгром петрашевцев не ослабил стремлений молодого поколения знакомиться с социалистическими учениями.

Живя в одной квартире с Чернышевским, Пыпин был невольным свидетелем тех «недозволенных» способов, с помощью которых его старший брат расширял свой кругозор. «То, что читали в кружке Петрашевского, — вспоминал Пыпин, — продолжали читать и теперь, конечно, только с гораздо большею осторожностью. Я сам имел в руках эти книги, но досконально их не читал: вопросы экономические меня не интересовали... Около этого времени в Петербурге, как мне говорили, очень широко обращалась эта социалистическая иностранная литература, конечно, строго запрещенная. Один книгопродавец, Лури, вел торговлю этой контрабандой даже очень неосторожно и, уличенный в ней, был сослан из Петербурга. Но эта ссылка не остановила контрабанды. Я очень хорошо помню особого рода букинистов-ходебщиков — тип, с тех пор исчезнувший... Эти букинисты, с огромным холщовым мешком за плечами, ходили по квартирам известных им любителей подобной литературы (через которых находили и других любителей) и, придя в дом, развязывали свой мешок и выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше

французские, а также немецкие... Один такой букинист прихаживал и к нам...»

Занятый хлопотами об устройстве на место преподавателя в кадетском корпусе, Чернышевский забыл и думать о том, что в недрах канцелярии попечителя округа лежит его заявление о предоставлении места в Саратовской гимназии. Казалось, все устроилось само собою так, что в Саратов он не вернется, а останется в Петербурге; но в один из сентябрьских дней, когда он зашел за книгами в университетскую библиотеку, его увидал инспектор Фицтум и сказал:

— Где ваш адрес? Приходите в канцелярию попечителя завтра же.

Чернышевский думал, что дело касается перевода Александра Пыпина из Казанского университета, и был буквально ошеломлен, услышав от Фицтума:

— Вы просите себе места в Саратове? В канцелярии получена бумага, что место имеется.

Известие это отнюдь не обрадовало Чернышевского. Желая, вероятно, усложнить и затянуть дело, он заявил попечителю, что не имеет средств для переезда в Саратов, и, кроме того, поставил непременно условием своего перехода на службу в Саратов освобождение от вторичного экзамена, надеясь, что попечитель не согласится на выдвинутые им условия. Поэтому в письмах к родителям он «расписал», что обязательно возьмет место в Саратове, если примут условия. А сам между тем согласился на предложенное ему место во 2-м Петербургском кадетском корпусе.

«Конечно, — признавался он самому себе в дневнике, — я писал это более потому, что думал, что условия будут не приняты, потому что странное имеет влияние петербургская жизнь и ужасную силу имеет

правило: с глаз долой — и из памяти вон. Когда был в Саратове, жалко было расстаться со своими, а как приехал в Петербург да обжился в нем несколько, так жаль стало расстаться с ним, потому что, как бы то ни было, все надежды в нем, всякое исполнение желаний от него и в нем... Да, страшное дело эта мерзкая централизация, которая делает, что Петербург решительно втягивает в себя, как водоворот всю жизнь нашу! Вне его нет надежд, вне его нет движения ни в чинах, ни в местах, ни в умственном и политическом мире».

